

# Странник по звездам

**Автор:**

Джек Лондон

Странник по звездам

Джек Лондон

Зарубежная классика (АСТ)

Человека невозможно смирить. Жажду свободы невозможно уничтожить. Такова основная тема почти неизвестного современному отечественному читателю, но некогда необыкновенно популярного фантастического романа Джека Лондона, герой которого, объявленный сумасшедшим, в действительности обладает поразительным даром усилием воли покинуть свое физическое тело и странствовать по самым отдаленным эпохам и странам. Ему не нужна машина времени – машина времени он сам. Брэнная плоть может томиться за решеткой – но разве это важно, если свободны разум и дух?..

Джек Лондон

Странник по звездам

© Перевод. Т. Озерская, наследники, 2011

© ООО «Издательство Астрель», 2013

Глава I

Всю жизнь в душе моей хранилось воспоминание об иных временах и странах. И о том, что я уже жил прежде в облике каких-то других людей... Поверь мне, мой будущий читатель, то же бывало и с тобой. Перелистай страницы своего детства, и ты вспомнишь это ощущение, о котором я говорю, – ты испытал его не раз на заре жизни. Твоя личность еще не сложилась тогда, не выкристаллизовалась. Ты был податлив, как воск, еще не отлился в устойчивую форму, твое сознание еще находилось в процессе формирования... О да, ты становился самим собой, и ты забывал.

Ты многое позабыл, мой читатель, и все же, когда ты пробегаешь глазами эти строчки, перед тобой, словно в туманной дымке, рождаются видения иных мест, иных времен, которые открывались твоему детскому взору. Сегодня они кажутся снами. Но если это сны, сившиеся тебе тогда, то что породило их, какая реальность? В наших снах причудливо сплетается воедино то, что было пережито нами когда-то. Самые нелепые сны порождены реальным жизненным опытом. Ребенком, еще крошечным ребенком, ты падал во сне, читатель, с головокружительной высоты; тебе снилось, что ты летаешь по воздуху, словно для тебя привычно летать; тебя пугали страшные пауки и существа с множеством ног, рожденные в болотном иле; ты слышал какие-то голоса и видел какие-то лица, пугающе знакомые; ты взирал на утренние и вечерние зори, подобных которым – ты знаешь это теперь, заглядывая в прошлое, – ты никогда не видел.

Прекрасно. Эти отрывки детских воспоминаний – они принадлежат к другому миру, к другой жизни, они – часть того, с чем тебе никогда не приходилось сталкиваться в твоём нынешнем мире, в твоей нынешней жизни. Так откуда же они? Из какого-то другого мира? Из чьей-то другой жизни? Быть может, когда ты прочтешь все, что я здесь напишу, ты найдешь ответы на эти недоуменные вопросы, которыми я сейчас поставил тебя в тупик и которые ты, еще прежде чем раскрыть мою книгу, задавал себе сам.

Вордсворт это знал. Он не был ни пророком, ни ясновидящим, он был самым обыкновенным человеком, как ты или любой другой. То, что он знал, знаешь и ты, и каждый человек это знает. Но он удивительно точно сказал об этом – в тех строках, которые начинаются так:

«Не в полной наготе и не в забвенье полном...»

Да, мрак темницы смыкается над нами, едва успеваем мы появиться на свет, и слишком быстро мы забываем все. Однако, рождаясь, мы еще помним иные места, иные времена. Беспомощные младенцы, покоясь у кого-то на руках или ползая на четвереньках по полу, мы грезим о полетах высоко над землей. Да, да. И в наших кошмарах мы переживаем страдания и муки, изнывая от страха перед чем-то чудовищным и неведомым. Едва родившись, еще не получив никакого опыта, мы тем не менее уже с момента появления на свет знаем чувство страха, страх живет в наших воспоминаниях, – а воспоминания возникают из опыта.

Если говорить о себе самом, то в том нежном возрасте, когда я едва начинал складывать слова, а чувство голода или желание сна выражал еще в нечленораздельных звуках, – да, уже тогда я знал, что когда-то блуждал в пространстве среди звезд. Мой язык еще ни разу не произносил слова «король», а я помнил, что когда-то я был сыном короля. И еще я помню: я был рабом и сыном раба когда-то и носил на шее железное кольцо.

Более того. В возрасте трех... четырех... пяти лет я не был самим собой. Я еще только начинался, мой дух еще не застыл в устойчивой форме, соответствующей моему телу, моему времени, моему окружению. В этот период все, чем я был в предыдущие десятки тысяч моих жизней, боролось во мне, в моей еще не сложившейся душе, стремясь воплотить себя во мне и стать мною.

Нелепо, не правда ли? Но вспомни, мой читатель, который, как я надеюсь, будет странствовать со мной во времени и пространстве, вспомни, прошу, мой читатель, что я немало размышлял над этими предметами, что долгие, долгие годы, в бесконечном мраке, пропахшем кровью и потом, я оставался наедине с моими другими «я», и общался с ними, и изучал их. Я вновь претерпел горе и муки былых существований, чтобы принести тебе познание, которое ты поделишь со мной как-нибудь на досуге, спокойно перелистывая страницы моей книги.

Итак, как я уже сказал, в возрасте трех, четырех и пяти лет я еще не был самим собой. Я еще только выкристаллизовывался, обретая форму, в сосуде моего тела, и могучее неизгладимое прошлое, определяя, чем я стану, воздействовало на ту смесь, из которой я должен был сложиться. Это не мой голос раздавался по ночам, исполненный страха перед чем-то хорошо известным, что мне, без сомнения, не было и не могло быть известно. И не о том же ли самом говорят мои детские пристрастия, вспышки ярости или приступы хохота? Чужие голоса звучали в моем голосе, голоса живших когда-то встарь мужчин и женщин,

голоса теней – моих предков. И когда я вопил в бешенстве, в этом вопле слышался вой зверей, более древних, чем горы, и в детском моем неистовом, истерическом, яростном визге находили отзвук дикие, бессмысленные крики зверей, населявших землю в доисторические времена, еще до появления Адама.

Ну вот, я и выдал свою тайну. Багровая ярость! Вот что погубило меня в этой, нынешней жизни. Вот по милости чего через каких-нибудь несколько недель меня выведут из этой камеры и потащат к высокому шаткому помосту, над которым болтается крепкая веревка. И с помощью этой веревки меня повесят за шею, и я буду висеть на ней, пока не умру. Багровая ярость всегда была причиной моей гибели во всех моих воплощениях, ибо багровая ярость – это роковое, гибельное наследие, выпавшее на мою долю еще во времена покрытых слизью существ, когда наш мир только создавался.

Но, пожалуй, мне пора представиться. Я не слабоумный и не сумасшедший. Я хочу, чтобы вы это поняли, иначе вы не поверите тому, что я хочу вам рассказать. Меня зовут Даррел Стэндинг. Кое-кто из вас, прочтя эти строки, тотчас вспомнит, о ком идет речь. Но большинство моих читателей, несомненно, ничего обо мне не слышали, и поэтому я расскажу о себе.

Восемь лет назад я был профессором агрономии на сельскохозяйственном факультете Калифорнийского университета. Восемь лет назад сонный университетский городок Беркли был потрясен известием о том, что в одной из лабораторий геологического факультета убит профессор Хаскелл. Убийцей был Даррел Стэндинг.

Я и есть тот Даррел Стэндинг. Меня застигли на месте преступления. Кто из нас был прав, а кто виноват в этой ссоре, не имеет значения. То было сугубо личное дело. Важно лишь одно: в припадке гнева, оказавшись во власти багровой ярости, которая была извечным моим проклятием во все времена, я убил моего коллегу. Так было записано в судебном решении, и я признаю, что на этот раз суд не ошибся.

Нет, меня повесят не за убийство профессора Хаскелла. За это преступление я был приговорен к пожизненному заключению. Мне было тогда тридцать шесть лет. Теперь мне сорок четыре года. Восемь последних лет я провел в Сен-Квентине – в государственной тюрьме штата Калифорния. Из этих восьми лет

пять лет я прожил в полном мраке. Это называется одиночным заключением. А те, кто его испытал, называют его погребением заживо. Но мне во время этих пяти лет жизни в могиле удалось достичь такой свободы, какой редко пользовался кто-нибудь из людей. Я был заперт в одиночке, меня бдительно охраняли, и тем не менее я не только скитался по свету, но странствовал и во времени. Те, кто замуровал меня там на несколько жалких лет, подарили мне, сами того не зная, простор столетий. Да, благодаря Эду Моррелу я в течение пяти лет был скитальцем звездных пространств. Но Эд Моррел – это особая история. Я расскажу вам о нем немного погодя. Мне надо рассказать так много, что я затрудняюсь, с чего начать.

Начну хотя бы так. Я родился на ферме в Миннесоте. Моя мать была дочерью шведа-эмигранта. Ее звали Хильда Тоннессон. Отца моего звали Чонси Стэндинг – он был коренным американцем. Его род восходил к Элфриду Стэндингу, завербованному работнику, или, если хотите, рабу, вывезенному из Англии на виргинские плантации еще в те давние года, когда юный Вашингтон отправился обозревать пенсильванские леса.

Сын Элфрида Стэндинга сражался в рядах революционной армии; внук принимал участие в войне 1812 года. С тех пор не было ни одной войны, в которой не участвовал бы кто-нибудь из Стэндингов. Я, последний из Стэндингов, которому суждено вскоре умереть, не оставив после себя потомства, в последнюю войну сражался рядовым на Филиппинах, ради чего в самом расцвете своей научной карьеры отказался от профессорской кафедры в Небрасском университете. Великий Боже! Ведь когда я от всего этого отказался, меня прочили в деканы сельскохозяйственного факультета этого университета! Меня, скитальца звездных пространств, страстного искателя приключений, Каина, кочующего из столетия в столетие, воинственного жреца забытых эпох, мечтателя-поэта дней, давно канувших в прошлое и даже не занесенных в книгу истории.

И вот я здесь, в Коридоре Убийц государственной тюрьмы Фолсем, и руки мои багровы. Я здесь, и я ожидаю того дня, установленного государственной машиной штата, когда слуги закона отведут меня туда, где, по их искреннему убеждению, для меня наступит мрак, – мрак, которого они страшатся, мрак, который населяет их суеверные души пугающими видениями, мрак, который гонит их, трясущихся и хнычущих, к алтарям богов, порожденных их же собственным страхом, сотворенных по их же подобию.

Да, мне уже никогда не быть деканом сельскохозяйственного факультета. Однако я знаю агрономию. Это была моя специальность. Я был рожден для нее, воспитан для нее, обучен для нее и овладел ею. Во всем, что касалось сельского хозяйства, я был гением. С одного взгляда я мог определить удоимость коровы, и любая проверка подтверждала верность моего глаза. Мне не нужно было изучать почву – мне достаточно было посмотреть на пейзаж, – и я уже знал все ее достоинства и недостатки. Я не нуждался в лакмусовой бумажке, чтобы определить щелочность или кислотность почвы. Повторяю: земледелие в самом высоком научном аспекте – вот в чем я был гением и остаюсь им. И все же штат, все его граждане вкупе верят, что они могут отнять у меня эту мудрость, погрузив меня в последний мрак с помощью веревочной петли, накинутой мне на шею, и закона земного притяжения, могут отнять мудрость, что накапливалась во мне тысячелетиями и бережно взращивалась еще в те дни, когда на лугах Трои не начали пастись стада кочевников-скотоводов.

А кукуруза? Кто еще так знает кукурузу, как я? А мои опыты в Уистаре, в результате которых я увеличил ежегодный доход от кукурузы во всех округах штата Айова на полмиллиона долларов!.. Это вошло в историю. Не один фермер, разъезжающий сейчас в собственном автомобиле, знает, кто сделал для него доступным этот автомобиль. Не одна милая девушка, не один ясноглазый юноша, склонившиеся над университетским учебником, вспоминают, что это я своими опытами в Уистаре сделал доступным для них это обучение.

А методы ведения сельского хозяйства! Я знаю все причины всех потерь – мне не нужно просматривать киноленты, чтобы заметить, в чем кроется непроизводительность труда, будь то в работе целой фермы или одного работника с фермы, будь то при планировке сельскохозяйственных строений или при планировке сельскохозяйственных работ. Все это есть в составленном мною справочнике с диаграммами. Можно не сомневаться, что в эту самую минуту сотни тысяч фермеров, сосредоточенно хмурясь, заглядывают в него, прежде чем выбить пепел из своей последней трубки и отправиться на боковую. Однако мне самому уже давно не нужны мои диаграммы, мне достаточно одного взгляда на человека, чтобы распознать его наклонности, увидеть, на что он способен, и с математической точностью определить, какова будет производительность его труда.

А сейчас мне нужно закончить эту первую главу моего повествования. Уже девять часов, а в Коридоре Убийц это означает, что пора гасить свет. Вот я уже слышу тихий шорох резиновых подметок надзирателя – он направляется сюда,

чтобы выбрать меня за то, что моя керосиновая лампа все еще горит. Словно угрозы живущих могут испугать того, кто осужден на смерть!

## Глава II

Я Даррел Стэндинг. Скоро меня выведут из этой камеры и повесят. А пока я рассказываю о том, о чем мне хочется рассказать, и пишу об иных временах и странах.

После вынесения приговора меня отправили в тюрьму Сен-Квентин, где я должен был провести остаток своей жизни. Я был признан «неисправимым». «Неисправимый» – это зверь в человеческом облике; таков он по крайней мере в глазах тюремщиков. Я попал в разряд неисправимых, потому что не мог выносить непроизводительной затраты труда. Тюрьма эта, как и все тюрьмы, была вопиющим позором, местом чудовищно непроизводительной затраты труда. Меня определили в ткацкую мастерскую. Преступная непроизводительность этого труда бесила меня. Да как могло быть иначе? Ведь сведение до минимума непроизводительных затрат труда было моей специальностью. Еще до применения пара, до изобретения паровой ткацкой машины, три тысячи лет назад я гнил в темнице Древнего Вавилона, и, поверьте, в те далекие времена мы, узники, куда продуктивнее ткали на ручных станках, чем ткут нынешние арестанты в тюрьме Сен-Квентин на станках, приводимых в действие паром.

Эта преступная, бессмысленная затрата труда была отвратительна. Я взбунтовался. Я пытался показать надзирателям десятка два более продуктивных способов. На меня пожаловались начальству, после чего я был брошен в карцер, лишен света и пищи. Когда меня выпустили оттуда, я решил принудить себя работать среди бессмысленного непроизводительного хаоса ткацкой мастерской. И взбунтовался. Меня бросили в карцер и зашнуровали в смирительную рубашку. Меня растягивали на полу и подвешивали за большие пальцы. Безмозглые надзиратели, у которых хватало ума только на то, чтобы заметить, что я чем-то отличаюсь от них и не столь глуп, потихоньку избивали меня.

Два года длились бессмысленные истязания. Страшно быть связанным по рукам и ногам, еще страшнее, если тебя при этом грызут крысы. Крысами были мои тюремщики, и они выгрызали мой мозг, выгрызали лучшее во мне, выгрызали мою душу. А я, я, который в прежней жизни был отважным бойцом, в настоящей моей жизни никак не годился для борьбы. Я был фермером, агрономом, кабинетным ученым, рабом лабораторий и думал только о земле и о том, как увеличить ее плодородие.

Я сражался на Филиппинах, потому что такова была традиция рода Стэндингов. Я же не испытывал к этому никакой тяги. Все это было слишком нелепо: зачем понадобилось кому-то поражать тела маленьких темнокожих инородцев чужеродным взрывчатым веществом! Странно было наблюдать, как наука prostitute всю мощь своих открытий и мозг изобретателей, насильственно вводя в тела темнокожих чужеродное взрывчатое вещество.

Как я уже сказал, следуя установившейся в роду Стэндингов традиции, я стал солдатом и пришел к заключению, что у меня нет ни малейшей склонности к военному ремеслу. К такому же выводу пришло, по-видимому, и мое начальство, потому что довольно скоро меня назначили штабным писарем, и вот так, сидя за письменным столом, я и провоевал всю испано-американскую войну.

Как видите, непроизводительность труда в ткацкой мастерской приводила меня в такое бешенство отнюдь не потому, что я был бойцом по натуре, а именно потому, что по натуре я был мыслителем. За это я подвергался преследованиям со стороны тюремщиков и попал в разряд «неисправимых». Человеческий мозг работает сам по себе, и я понес наказание за его независимость. Вот что я сказал начальнику тюрьмы Азертону, когда моя «неисправимость» стала настолько общеизвестной, что он вызвал меня к себе, в свой личный кабинет, чтобы усовестить:

– Ведь это же нелепо, начальник, предполагать, что ваши крысодавы-надзиратели способны выбить из моего мозга то, что сложилось в нем ясно и отчетливо. Вся постановка дела в этой тюрьме нелепа. Вы политик. Вы умеете ткать паутину интриг и превращать политическое влияние барменов Сан-Франциско и всяких их прихлебателей в тепленькое местечко, вроде того, какое вы сейчас занимаете, но вы не умеете ткать джут, в этом вы ничего не смыслите. Ваша ткацкая мастерская устарела на полсотни лет...

Но стоит ли повторять всю эту тираду – ибо я произнес настоящую тираду. Я объяснил ему, какой он дурак, и он решил, что я неисправим безнадежно.

Назови собаку бешеной... ну, вам известна эта пословица. Прекрасно. Начальник тюрьмы Азертон окончательно закрепил за мной мою репутацию. Я был отличным козлом отпущения. Не раз и не два сваливали на меня провинности других заключенных, и я, расплачиваясь за них, попадал в карцер на хлеб и воду. Или же меня подвешивали за большие пальцы и оставляли так на долгие часы, каждый из которых казался мне более нескончаемым, чем любая из прожитых мною прежних жизней.

Умные люди часто бывают жестоки. Глупые люди жестоки сверх всякой меры. Все, кому я подчинялся, от начальника тюрьмы и до последнего надзирателя, были тупыми животными. Сейчас вы узнаете, что они сделали со мной.

В тюрьме содержался один заключенный – поэт. Это был выродок с безвольным подбородком и низким лбом. И фальшивомонетчик. И трус. И доносчик. И легавый. Несколько необычное слово, скажете вы, для профессора агрономии, но даже профессор агрономии легко может научиться писать необычные слова, если его заточить в тюрьму пожизненно.

Поэта-фальшивомонетчика звали Сесил Уинвуд. Он уже не впервые попадал за решетку и не впервые был осужден, но тем не менее на этот раз его приговорили всего к семи годам тюрьмы, потому что он был доносчик и предатель. А за примерное поведение ему могли сократить и этот срок. Мой же срок истекал вместе с моей жизнью. Однако этот жалкий выродок, стремясь отвоевать себе еще несколько коротеньких лет свободы, ухитрился вдобавок к моему пожизненному заключению подарить мне основательный кусок вечности.

События, о которых я расскажу вам по порядку, сам я узнал далеко не сразу и не в их хронологической последовательности. Этот Сесил Уинвуд, желая завоевать расположение всего тюремного начальства, начиная от надзирателей и начальника тюрьмы и кончая тюремной инспекцией и губернатором штата, подстроил доказательства якобы задуманного побега. Теперь отметьте следующие три обстоятельства: а) все заключенные так презирали Сесила Уинвуда, что ему не разрешили бы даже поставить щепотку табака в клопичных бегах, а клопичные бега были излюбленным развлечением заключенных; б) я был собакой, которую называли бешеной; в) для вымышленного побега Сесилу Уинвуду требовались такие собаки – кто-нибудь из пожизненно заключенных, из

отпетых, из неисправимых.

Но пожизненно заключенные презирали Сесила Уинвуда, и когда он предложил им свой план массового побега, они подняли его на смех и обругали – все знали, что он доносчик. Однако в конце концов он их все-таки одурачил – одурачил сорок самых умных и хитрых голов в тюрьме. Он приставал к ним снова и снова. Рассказывал им о влиянии, которым пользуется в тюрьме, потому что он писарь в конторе тюрьмы и имеет свободный доступ в тюремную аптеку.

– Докажи, – сказал ему горец Билл Ходж, по прозвищу Длинный, отбывавший пожизненное заключение за ограбление поезда и годами носивший в душе одну заветную мечту: тем или иным способом вырваться на волю, чтобы убить своего соучастника по ограблению, который дал против него показания на суде.

Сесил Уинвуд принял предложенное испытание. Он объявил, что усыпит стражу в ночь побега.

– Слова дешево стоят, – сказал ему Длинный Билл Ходж. – Нам нужен товар. Усыпи сторожа сегодня ночью. Дежурит Барнем. Он последняя тварь. Он избил вчера помешанного китаезу в коридоре спятивших. Да еще когда избил-то – уже с дежурства сменился. Сегодня он дежурит ночью. Усыпи его – пускай-ка его выгонят отсюда. Сделаешь это, тогда будем говорить с тобой о деле.

Все это Длинный Билл рассказывал мне впоследствии. Сесил Уинвуд запротестовал против столь немедленного испытания. Ему нужно время, чтобы выкрасть снотворное из аптеки, сказал он. Время ему было дано, и неделю спустя он заявил, что все готово. Сорок умудренных горьким опытом преступников, приговоренных к пожизненному заключению, стали ждать, заснет ли Барнем или не заснет. И Барнем заснул. Его застали спящим и уволили за то, что он уснул на дежурстве.

Это убедило заключенных. Оставалось убедить старшего надзирателя. А Сесил Уинвуд ежедневно докладывал ему до мельчайших подробностей, как движется подготовка к побегу, созданная его фантазией. Надзиратель захотел убедиться своими глазами. Уинвуд предоставил ему эту возможность. О том, как это было сделано, я узнал лишь год спустя – так медленно открываются тайные тюремные интриги.

Уинвуд заявил, что сорок заключенных, замысливших побег и доверивших ему свою тайну, уже обрели такое влияние в тюрьме, что все подготовлено для доставки им в тюрьму пистолетов при содействии подкупленных ими сторожей.

- Докажи, - вероятно, потребовал надзиратель.

И поэт-фальшивомонетчик доказал. В пекарне, как правило, работа велась круглые сутки. Один из заключенных - пекарь, работавший в первой ночной смене, наушничал старшему надзирателю, и Уинвуду это было известно.

- Сегодня ночью, - сказал Уинвуд надзирателю, - Саммерфейс пронесет в тюрьму дюжину пистолетов сорок четвертого калибра. В свое последующее дежурство он доставит патроны. А сегодня ночью в пекарне он передаст эти пистолеты мне. У вас там есть свой человек. Завтра утром он сам обо всем вам доложит.

Этот Саммерфейс был рослый детина родом из округа Гумбольдт. Простодушный, покладистый и недалекий малый, он не прочь был заработать доллар-другой, пронося в тюрьму табак для заключенных. В ту ночь он только что возвратился из поездки в Сан-Франциско и привез с собой пятнадцать фунтов хорошего курительного табаку. Он проделывал это и раньше и обычно передавал табак Сесилу Уинвуду. Совершенно так же поступил он и на этот раз: не подозревая ничего худого, он передал в пекарне свой табак Уинвуду. Это был довольно основательный сверток в оберточной бумаге, не содержащей ровно ничего, кроме безобидного табака. Пекарь-доносчик увидел из засады, что Уинвуду передают какой-то сверток, и на следующее утро доложил об этом старшему надзирателю.

И вот тут-то поэт-фальшивомонетчик не сумел обуздать полета своей чересчур живой фантазии. Он перегнул палку, и я угодил в одиночную камеру на пять лет, а потом в камеру смертников, в которой и пишу сейчас эти строки. Но в те дни я и не подозревал о том, что произошло. Я даже не знал о подготовке побега, в которую Сесил Уинвуд вовлек сорок пожизненно заключенных. Я не знал ничего, абсолютно ничего. И остальные знали лишь немногим больше. Заключенные не знали, что Сесил Уинвуд задумал их предать. Надзиратель не знал, что Сесил Уинвуд водит его за нос. Еще меньше подозревал о чем-либо Саммерфейс. В худшем случае на его совести лежала только доставка табака заключенным.

Теперь послушайте, какую нелепость, какую мелодраматическую чушь брякнул Сесил Уинвуд. На следующее утро, представ перед старшим надзирателем, он ликовал. И его фантазия сорвалась с узды.

- Да, ты не соврал, он действительно передал пакет, - начал надзиратель.

- И содержимого этого пакета вполне достаточно, чтобы вся тюрьма взлетела на воздух, - объявил Уинвуд.

- Какого содержимого? - оторопел надзиратель.

- Динамита и детонаторов, - выпалил этот идиот. - Тридцать пять фунтов. Ваш человек видел, как Саммерфейс передал все это мне.

Вероятно, надзирателя тут едва не хватил удар. Его можно только пожалеть. Шутка ли - тридцать пять фунтов динамита в тюрьме!

Говорят, что капитан Джеми (так его прозвали) упал на стул и схватился руками за голову.

- Где же этот динамит? - закричал он. - Я должен забрать его немедленно. Сейчас же веди меня туда!

И тут Сесил Уинвуд понял свою ошибку.

- Я спрятал динамит, - солгал он.

Теперь уж он был вынужден лгать дальше, так как в свертке не было ничего, кроме маленьких пакетиков табака, и все они уже давно разошлись обычным путем между заключенными.

- Очень хорошо, - сказал капитан Джеми, беря себя в руки. - Сейчас же отведи меня туда.

Но вести старшего надзирателя было некуда, так как никакого динамита нигде спрятано не было. Его попросту не существовало, ни сейчас, ни раньше - не существовало нигде, кроме как в воображении подлеца Уинвуда.

В такой большой тюрьме, как Сен-Квентин, всегда найдется немало укромных закоулков. И пока Сесил Уинвуд шагал рядом с капитаном Джеми, его мысль, надо полагать, работала с бешеной быстротой.

Как докладывал впоследствии капитан Джеми главному тюремному начальству – и это подтвердил сам Уинвуд, – по дороге к тайнику Уинвуд сказал, что я прятал динамит вместе с ним.

А меня только что выпустили из карцера, где я пробыл пять суток, и из них – восемьдесят часов в смиренной рубашке, – и так ослабел, что даже тупые тюремщики поняли это и решили не посылать меня сразу в ткацкую. И вот он указал на меня, в тот момент, когда мне разрешили отдохнуть денек, чтобы восстановить силы после слишком сурового наказания! Да, именно меня назвал он своим сообщником, помогавшим ему спрятать тридцать пять фунтов несуществующего динамита!

Уинвуд привел капитана Джеми к предполагаемому тайнику. Разумеется, они не обнаружили там никакого динамита.

– Боже мой! – притворно ужаснулся Уинвуд. – Стэндинг провел меня. Он перепрятал пакеты в другое место.

У старшего надзирателя вырвалось нечто более выразительное, чем «Боже мой!». А затем, вне себя от бешенства, однако внешне не теряя хладнокровия, он отвел Уинвуда к себе в кабинет, запер дверь и страшно его избил, что впоследствии дошло до высшего тюремного начальства. Но это произошло значительно позже. Уинвуд даже во время побоев клялся, что сказал истинную правду.

Что оставалось делать капитану Джеми? Он искренне верил, что где-то в тюрьме спрятаны тридцать пять фунтов динамита и сорок отпетых преступников, приговоренных к пожизненному заключению, готовятся к побегу. Ну, разумеется, он допросил Саммерфейса, и хотя Саммерфейс утверждал, что в свертке не было ничего, кроме табака, Уинвуд снова поклялся, что там был динамит, и ему поверили.

В этот момент на сцене появляюсь я, вернее, наоборот – совсем схожу со сцены, ибо меня лишают дневного света и сияния солнечных лучей и бросают в карцер. И в этом карцере, в одиночном заключении, лишенный света и сияния солнечных лучей, я принужден гнить пять долгих лет.

Я ничего не мог понять. Меня только что освободили из одиночки, и я, измученный, истерзанный, лежал на койке в своей камере, как вдруг меня снова бросили в карцер.

– Теперь, – сказал Уинвуд капитану Джеми, – хотя мы и не знаем, где спрятан динамит, никакая опасность нам от этого не угрожает. Стэндинг – единственный человек, которому известен тайник, а из карцера он никому ничего сообщить не сможет. Заключенные готовы к побегу. Мы можем захватить их во время попытки. Они ждут только моего сигнала. Я скажу им, чтобы сегодня ночью, в два часа, они были готовы, что я подсыплю часовым снотворное, а потом отомкну камеры и раздам всем пистолеты. Если сегодня ночью, надзиратель, вы не поймаете с поличным, в полной готовности к побегу, в одежде и бодрствующими всех сорок, которых я вам назову, тогда можете посадить меня в одиночку до конца моего срока. А когда, кроме Стэндинга, и все остальные сорок будут надежно запряваны в карцер, у нас времени будет хоть отбавляй, чтобы разыскать этот динамит.

– Даже если бы нам пришлось для этого разобрать по кирпичику всю тюрьму, – храбро заявил капитан Джеми.

Все это было шесть лет назад. За истекшее время им, конечно, так и не удалось обнаружить этого никогда не существовавшего динамита, хотя они тысячу тысяч раз перетряхивали всю тюрьму, пытались его разыскать. Тем не менее до последней минуты своего пребывания на посту начальник тюрьмы Азертон верил в существование этого динамита. Капитан Джеми, который и сейчас остается тем старшим надзирателем, и по сей день уверен, что динамит спрятан где-то в недрах тюрьмы. Не далее как вчера он проделал весь путь от Сен-Квентина до Фолсема, чтобы сделать еще одну попытку вынудить у меня признание о местонахождении этого тайника. Я знаю, что он не обретет душевного покоя до тех пор, пока меня не повесят.

Весь тот день, в карцере, я ломал себе голову, стараясь понять, за что обрушилась на меня эта новая и незаслуженная кара. В конце концов я пришел к единственному возможному заключению: какой-нибудь доносчик, чтобы снискать расположение начальства, приписал мне нарушение правил тюремного распорядка.

Тем временем капитан Джеми находился в состоянии сильнейшего беспокойства, ожидая наступления ночи, а Уинвуд сообщил сорока пожизненно заключенным, чтобы они были готовы к побегу. В два часа пополудни вся тюремная охрана была на ногах и готова к действию. Все надзиратели, даже дневная смена, которая в это время обычно спала. Когда пробило два часа, они ворвались в камеры сорока пожизненно заключенных. Они ворвались во все камеры одновременно. Внезапно распахнулись все двери, и все сорок человек, которых назвал Уинвуд, все без исключения, оказались одетыми: ни один не лежал на своей койке, все притаились в ожидании у дверей. Разумеется, это послужило неопровержимым подтверждением того хитросплетения лжи, которым поэт-фальшивомонетчик опутал капитана Джеми. Сорок заключенных были застигнуты на месте преступления в полной готовности к побегу. Какое могло иметь значение, если впоследствии они все как один утверждали, что план побега был задуман Уинвудом? Все тюремное начальство было уверено, что сорок заключенных лгут, чтобы спасти свою шкуру. Комиссия по амнистиям была уверена в том же – не прошло и трех месяцев, как Сесил Уинвуд, фальшивомонетчик и поэт, самый презренный из людей, получил амнистию.

Что ж, тюрьма – хорошее испытание и хорошая школа для философа. Тот, кто выдержал несколько лет заключения, обязательно видит, как разлетаются прахом самые дорогие ему иллюзии и лопаются мыльные пузыри прекрасных метафизических умозаключений. Истина бессмертна, учат нас; рано или поздно преступление выйдет наружу. Ну так вот вам доказательство того, что преступление не всегда выходит наружу. Старший надзиратель, начальник тюрьмы Азертон и все высшее тюремное начальство, все до единого человека, и по сей день верят в существование динамита, который существовал только в сорвавшемся с тормозов воображении некоего выроodka, фальшивомонетчика и поэта – Сесила Уинвуда. И Сесил Уинвуд все еще жив, в то время как я, самый безвинный, самый непричастный к этому делу человек, именно я буду отправлен на виселицу через несколько недель.

А теперь я расскажу вам, как сорок пожизненно заключенных внезапно нарушили мертвую тишину моего карцера. Я спал. Стук двери, ведущей в коридор, где расположены карцеры, разбудил меня. Еще какой-то бедняга, подумалось мне. Крепко ему достается, решил я, услышав громкий топот, глухие удары, внезапные возгласы боли, отборную брань и шорох волочимых по полу тел: всех сорок заключенных зверски избили по дороге в карцер.

Одна за другой отворялись двери карцеров, и кого-то вталкивали, кого-то втаскивали, кого-то швыряли туда. И снова и снова появлялись тюремщики с новой партией избитых заключенных, которых они продолжали избивать, и снова и снова отворялись двери карцеров и поглощали окровавленные тела людей, повинных в том, что они мечтали о свободе.

Оглядываясь назад, я вижу, что нужно быть поистине философом, чтобы на протяжении долгих лет выдерживать эти чудовищные сцены, порой становясь их участником. Я такой философ. В течение восьми лет я выносил эту пытку, и теперь, наконец, отчаявшись освободиться от меня иным путем, мои тюремщики прибегли к содействию государственной машины, чтобы накинуть мне петлю на шею и удушить меня весом моего же тела. О, я знаю, ученые эксперты высказывают свое весьма ученое суждение о том, что при падении в люк у жертвы ломаются шейные позвонки. Ну, а жертвы, подобно шекспировскому путнику, больше не возвращаются в этот мир, чтобы доказать, что это не совсем так. Однако мы, живущие в тюрьме, знаем о тайнах, не выходящих за пределы тюремного морга, – о повешенных, чьи шейные позвонки оставались целы и невредимы.

Странная вещь – повешение. Я никогда не видел, как вешают, но наблюдавшие эту казнь описывали мне ее во всех подробностях десятки раз, так что я очень хорошо знаю, что произойдет со мной. Я буду стоять на крышке люка, – руки и ноги в кандалах, черный капюшон надвинут на глаза, узел петли за правым ухом – под моими ногами разверзнется дыра, и я буду падать до тех пор, пока веревка, натянувшаяся до отказа под тяжестью моего тела, не прекратит внезапно моего падения. После чего вокруг меня столпятся врачи и один за другим будут взбираться на табурет и, обхватив руками мое тело, чтобы приостановить его мерное раскачивание, будут прижиматься ухом к моей груди и считать затихающие удары сердца. Бывает, что и двадцать минут истечет с того мгновения, как откроется люк, до того мгновения, когда сердце стукнет в последний раз. Но можете мне поверить: они постараются самым научным способом удостовериться в том, что человек действительно лишился жизни,

после того как ему накинули петлю на шею.

Я намерен несколько отклониться в сторону от моего повествования и задать два-три вопроса обществу. Я имею право и отклоняться и задавать вопросы: ведь в самом непродолжительном времени меня выведут из этой камеры и сделают со мной то, что я только что описал. Так вот: если шейные позвонки жертвы непременно должны сломаться благодаря вышеупомянутому хитроумному расположению узла и петли, а также точному расчету веса жертвы и длины веревки, зачем же тогда, спрашивается, заковывают руки жертвы в кандалы? Общество в целом не в состоянии ответить на этот вопрос. Но я знаю, для чего это делается. И это знает каждый палач-любитель, хотя бы раз принимавший участие в линчевании и видевший, как жертва хватается руками за веревку, чтобы ослабить стягивающую горло петлю, которая ее душит.

И еще один вопрос задам я самодовольному, закутанному в благополучие, как в ватку, члену современного общества, душа которого никогда не спускалась в преисподнюю: зачем закрывают они голову и лицо жертвы черным колпаком прежде, чем открыть люк под его ногами? И не забудьте, что в самом непродолжительном времени этот черный колпак будет надет на голову мне. Так что я имею право спрашивать. Или они, эти псы, эти твои верные цепные псы, о самодовольный обыватель, страшатся взглянуть в лицо жертвы, в котором, как в зеркале, отразится весь ужас того преступления, которое они совершают над нами для вас и по вашему приказу?!

Не забывайте, что я задаю этот вопрос не в год тысяча двухсотый от Рождества Христова, и не в год рождения Христа, и не в год тысяча двухсотый до Рождества Христова. Я, которого повесят в этом году, в году тысяча девятьсот тринадцатом от Рождества Христова, задаю эти вопросы вам, тем, кто, как принято думать, является последователем Христа, вам, чьи цепные псы, чьи гнусные прислужники-вешатели выведут меня из моей камеры и спрячут мое лицо под куском черной материи, ибо они не осмеливаются взглянуть на страшное злодеяние, которое они совершат надо мной, пока я еще буду жив.

Но вернемся к тому, что происходило у нас в карцерах. Когда последний надзиратель удалился и дверь коридора захлопнулась за ним, все сорок избитых, растерявшихся людей начали переговариваться и задавать друг другу вопросы. Но тут один из пожизненно заключенных, великан-матрос по прозвищу Брамсель Джек, заревел, словно бык, требуя тишины, чтобы можно было произвести перекличку. Все карцеры были заполнены, и вот из каждого карцера

по очереди стало доноситься, сколько в нем заперто человек и как их зовут. Таким образом было установлено, что в карцерах находятся только проверенные люди и можно не опасаться, что нас подслушивает доносчик.

Только я, единственный из всех, вызывал у заключенных подозрение, потому что только я не принимал участия в подготовке к побегу. И я был подвергнут самому придирчивому допросу. А что я мог им сообщить? Сегодня утром, едва с меня сняли смирительную рубашку и вывели из карцера, как тут же, без малейшего, насколько я мог понять, повода, меня снова швырнули в карцер. Но моя репутация «неисправимого» сослужила мне на сей раз хорошую службу, и скоро они заговорили о деле.

Я лежал и слушал и лишь тут впервые узнал о том, что готовился побег.

«Кто же донес?» – Этот единственный вопрос был у всех на устах, и всю ночь до рассвета он повторялся снова и снова. Сесила Уинвуда среди брошенных в карцеры не оказалось, и подозрение пало на него.

– Остается только одно, ребята, – сказал в конце концов Брамсель Джек. – Скоро утро, и, значит, скоро всех нас выволокут отсюда и начнут спускать шкуру. Нас поймали что называется с поличным: ночью, в одежде. Уинвуд обманул нас и донес. Они возьмут отсюда всех, одного за другим, и превратят в котлеты. Нас сорок человек. Значит, всякое вранье непременно выйдет наружу. Поэтому каждый, когда из него начнут вытряхивать душу, должен говорить правду, всю правду и ничего, кроме правды, как под присягой.

И там, в этой темной яме, созданной людской бесчеловечностью, четыре десятка пожизненно заключенных преступников, прижавшись лицом к чугунным решеткам дверей, один за другим торжественно поклялись говорить только правду.

Однако их правдивость принесла им мало пользы. В девять часов утра наши тюремщики – эти наемные убийцы на службе у самодовольных обывателей, олицетворяющих государство, – сытые, хорошо выспавшиеся тюремщики набросились на нас. Мы же не только ничего не ели, нас лишили даже воды. А избитого человека обычно лихорадит. Хотелось бы мне знать, читатель, имеешь ли ты хоть малейшее представление о том, что такое избитый заключенный? «Обработали» – так называется это на нашем языке. Впрочем, нет, я не стану

рассказывать об этом. Достаточно для тебя узнать, что жестоко избитые, страдавшие от жажды люди семь часов оставались без воды.

В девять часов появились наши тюремщики. Их было не слишком много. Да много и не требовалось – ведь они отпирали карцеры по одному. Все они были вооружены рукоятками от мотыг. Это очень удобное орудие для «дисциплинирования» незащитного человека. Двери карцеров отворялись одна за другой, и – карцер за карцером – осужденных на пожизненное заключение людей избивали, превращали в котлету. Впрочем, они проявили полное беспристрастие: меня избили, как и всех остальных. И это было только началом, так сказать, прелюдией к допросу, которому должны были быть подвергнуты все заключенные поочередно в присутствии наемных палачей штата. Это было предупреждением, чтобы каждый мог почувствовать, что ожидает его на допросе.

Я прошел через все муки тюремной жизни, через нечеловеческие муки, но страшнее всего, куда страшнее даже того, что готовят мне в недалеком будущем, был тот ад, который воцарился в карцерах в последующие дни.

Первым на допрос взяли Длинного Билла Ходжа, закаленного горца. Он возвратился через два часа – вернее, они притащили его обратно и швырнули на каменный пол карцера. Затем они увели Луиджи Поладзо, сан-францисского бандита, чьи родители переехали в Америку незадолго до того, как он появился на свет. Он издевался над тюремщиками, дразнил их, предлагая показать, на что они способны.

Прошло немало времени, прежде чем Длинный Билл Ходж нашел в себе силы совладать с болью и произнести что-нибудь членораздельное.

– Что это еще за динамит? – спросил он наконец. – Кто знает что-нибудь о динамите?

И, разумеется, никто ничего не знал, хотя допрашивали только об этом.

Луиджи Поладзо вернулся даже раньше чем через два часа, но это было уже лишь какое-то подобие человека: он что-то бормотал, как в бреду, и не мог ответить ни на один вопрос, а вопросы сыпались на него градом в нашем гулком каменном коридоре, ибо остальным еще предстояло пройти через то, что он

испытал, и всем хотелось узнать, что с ним делали и о чем спрашивали.

Еще дважды на протяжении двух суток Луиджи уводили на допрос, когда же он превратился в бессмысленного идиота, его навсегда отправили в отделение для умалишенных. У Луиджи на редкость крепкое здоровье. У него широкие плечи, могучая грудная клетка, крупные ноздри, хорошая, чистая кровь: он будет еще долго лопотать что-то в камере для умалишенных, после того как я повисну в петле и навсегда избежну истязаний в каторжных тюрьмах Калифорнии.

Одного за другим – и всякий раз по одному – заключенных уводили из камер, и один за другим, воя и стеная во мраке, обратно возвращались сломленные и телом и духом люди. А я лежал в своем карцере и прислушивался к этим стонам и воплям, к бессмысленному бормотанию одуревших от боли существ, и смутные воспоминания рождались в моей душе: мне начинало казаться, что когда-то я, надменный и бесстрастный, сидел на высоком помосте, и до меня доносились такие же вопли и стоны. Впоследствии, как вы увидите, я открыл источник этих воспоминаний, узнал, что эти стоны и вопли доносились со скамей, к которым были прикованы гребцы-рабы, а я, римский военачальник, слушал их, сидя на корме одной из галер Древнего Рима. Это было, когда я плыл в Александрию по пути в Иерусалим... Но об этом я расскажу позднее. А пока...

#### Глава IV

А пока я был во власти ужаса, наблюдая то, что творилось в карцерах, после того как был обнаружен готовившийся побег. Ни на секунду за все эти бесконечные часы ожидания, ни на секунду не покидала меня мысль о том, что рано или поздно настанет и мой черед отправиться тем же путем, как и другие заключенные, что и меня, как и других, подвергнут чудовищным мукам допроса, а потом принесут обратно утратившим человеческий облик и швырнут на каменный пол за обитую железом дверь карцера.

И за мной пришли. Безжалостно, грубо, с пинками и проклятиями, погнали куда-то, и я предстал перед капитаном Джеми и начальником тюрьмы Азертоном, окруженными своими подручными – наймитами штата Калифорния и налогоплательщиков: с полдюжины палачей-надзирателей топталось в комнате, ожидая приказаний. Но их услуги не понадобились.

– Садись, – сказал мне начальник Азертон, указав на крепкое деревянное кресло.

Но я, избитый и измученный, весь день и всю ночь страдавший от жажды, ослабевший от голода и побоев, обрушившихся на меня после пяти дней карцера и восьмидесяти часов смирительной рубашки, подавленный бедственной нашей судьбой и трепещущий перед предстоящим допросом (я ведь знал, что сделали с другими заключенными), словом, я, жалкое, дрожащее подобие человека и бывший профессор агрономии в тихом университетском городке, я колебался, не решаясь сесть.

Начальник тюрьмы Азертон был крупный мужчина могучего сложения. Его руки ухватили меня за плечи, и во власти этой силищи я почувствовал себя соломинкой. Он приподнял меня над полом и со всего маху швырнул в кресло.

– А теперь, – сказал он, в то время как я старался подавить крик боли и с трудом переводил дыхание, – ты расскажешь мне все, что тебе об этом известно, Стэндинг. Выкладывай, все выкладывай, если хочешь остаться цел.

– Я не знаю, что произошло, решительно ничего не знаю... – начал я.

Вот и все, что я успел сказать. С рычанием он кинулся на меня, снова высоко поднял и швырнул в кресло.

– Брось валять дурака, Стэндинг, – угрожающе произнес он. – Выкладывай все как есть. Где динамит?

– Я ничего не знаю ни о каком динамите, – возразил я.

И снова я был поднят и брошен в кресло.

Меня не раз подвергали самым разнообразным пыткам, но когда теперь в тишине последних оставшихся мне дней жизни я размышляю над этим, меня не покидает уверенность в том, что никакая пытка не сравнится с этим швырянием в кресло. Крепкое кресло постепенно превращалось в обломки под ударами моего тела. Потом принесли другое кресло, и вскоре и оно было разломано в щепы. Но приносили еще кресла, и снова и снова раздавался все тот же вопрос: «Где динамит?»

Когда начальник тюрьмы утомился, его сменил капитан Джеми, а затем тюремщик Моноэн пришел на смену капитану Джеми и тоже принялся вколачивать меня в кресло: «Где динамит? Где динамит? Где динамит?» А динамита не было. К концу допроса я с радостью отдал бы свою бессмертную душу за несколько фунтов динамита, местонахождение которого я мог бы указать.

Не знаю, сколько кресел сломалось под ударами моего тела. Бессчетное количество раз я терял сознание, и в конце концов все слилось в какой-то смутный кошмар. Меня пинками заставили идти куда-то, потом полунесли, полуволочили по темному коридору. А когда я очнулся в своей камере, то обнаружил там доносчика. Это был тщедушный человечек с мертвенно-бледным лицом наркомана, заключенный на короткий срок и готовый решительно на все, лишь бы раздобыть наркотик. Едва я увидел его, как тотчас подполз к решетке и крикнул из последних сил:

– Ко мне посадили легавого, ребята, – Игнатиуса Ирвина! Держите язык за зубами!

И такой взрыв бешеной ругани прогремел мне в ответ, что тут, пожалуй, струхнул бы и более отважный человек, чем Игнатиус Ирвин. Он же до того перетрусил, что на него жалко было смотреть. А избитые заключенные, рыча от боли и ярости, словно дикие звери, осыпали его угрозами и расписывали на все лады, что сделают они с ним, попадись он им только.

Имей мы секреты, присутствие доносчика заставило бы нас прикусить язык. Ну, а так как мы ничего не знали и поклялись говорить правду, то никто и не подумал молчать в присутствии Игнатиуса Ирвина. История с динамитом была для всех главной и неразрешимой загадкой, она всех ставила в тупик не меньше, чем меня. И все обратились ко мне. Все заклинали меня чистосердечно признаться, если мне известно что-нибудь о динамите, и спасти их от дальнейших страданий. А я мог ответить им только истинную правду: я ничего не знаю об этом динамите.

Прежде чем надзиратели увели от меня Ирвина, я успел узнать от него одну новость, показавшую, что эта история с динамитом – дело не шуточное. Я, разумеется, передал эту новость дальше. Ирвин сказал, что в тот день в тюрьме не работала ни одна мастерская. Тысячи заключенных оставались взаперти в

своих камерах, и похоже было на то, что работа не возобновится, пока не сыщется динамит, который кто-то ухитрился где-то спрятать.

А допросы все продолжались. По-прежнему заключенных выводили поодиночке из карцеров и приволакивали или приносили на носилках обратно. От них мы узнали, что начальник тюрьмы Азертон и капитан Джеми, совсем обессилив, начали сменять друг друга каждые два часа. Пока один спал, другой допрашивал. А спать им приходилось, не раздеваясь, в той самой комнате, в которой сильных, здоровых мужчин одного за другим превращали в калек.

И час за часом во мраке карцеров рос леденивший нас ужас. О, поверьте мне, ибо я знаю: быть повешенным – это пустяк по сравнению с теми страданиями, которым может подвергаться человек при жизни – и все же продолжать жить. Я сам наравне с остальными заключенными терпел нечеловеческую боль и муки жажды. Но мои страдания усиливались еще тем, что я не был равнодушен к страданиям других. Два года назад я попал в категорию «неисправимых», и страдания закалили мои нервы и мозг. Сильный человек, когда он сломлен, представляет собой страшное зрелище. А вокруг меня находилось сорок сильных мужчин, тело и дух которых были сломлены. Вопли изнемогавших от жажды людей не умолкали, и все это вместе напоминало сумасшедший дом: крики, стоны, бормотания, горячечный бред...

Вы поняли, что произошло? Нас погубила наша клятва говорить только правду. Когда сорок человек с полным единодушием стали утверждать одно и то же, начальник тюрьмы и капитан Джеми сделали из этого один-единственный вывод: наши показания – это хорошо затверженная ложь, которую каждый из сорока повторяет, как попугай.

Надо признать, что положение тюремного начальства тоже по-своему было отчаянным. Как я узнал впоследствии, срочно по телеграфу было созвано специальное совещание тюремного управления, и в тюрьму прибыло два отряда милиции штата.

Стояла зима, а зимой даже в Калифорнии мороз бывает порой весьма жесток. В карцерах заключенным не полагается даже одеял. Поверьте, избитому в кровь человеку очень холодно лежать на заиндевевшем каменном полу. А воду они нам в конце концов дали. Осыпая нас руганью и насмешками, надзиратели приволокли пожарные шланги и часами хлестали по карцерам сильной струей воды, хлестали до тех пор, пока не разбередили заново все наши раны. Вода

доходила нам уже до колен, и если раньше мы бредили водой, молили о воде, то теперь мы неистовствовали, требуя, чтобы нас перестали поливать водой.

Я умолчу о том, что происходило в карцерах дальше. Замечу мимоходом только, что ни один из сорока пожизненно заключенных не стал уже прежним человеком. К Луиджи Поладзо так и не вернулся рассудок. Длинный Билл Ходж мало-помалу свихнулся и примерно через год тоже был переведен в отделение для умалишенных. О да, и некоторые другие последовали за Ходжем и Поладзо! А кое у кого здоровье было настолько расшатано, что тюремный туберкулез быстро свел их в могилу. В течение последующих шести лет умерло десять человек из сорока.

После пяти лет, проведенных в одиночном заключении, когда меня везли из тюрьмы Сен-Квентин на суд, я увидел Брамсея Джека. Не сказать, чтобы я мог разглядеть много. Впервые за пять лет выйдя из мрака на яркий солнечный свет, я был слеп, как летучая мышь, но все же при виде Брамсея Джека у меня заныло сердце. Я заметил его, когда шел через тюремный двор. Волосы у него совсем побелели. Еще молодой по годам, он стал стариком. Грудь у него ввалилась, щеки запали, руки тряслись, как у паралитика. Он еле ковылял и все время спотыкался. Когда он узнал меня, на глаза у него навернулись слезы: ведь и я превратился из человека в жалкую развалину. Мой вес едва достигал восьмидесяти семи фунтов. Мои поседевшие волосы отросли за пять лет, как грива. Усы и борода тоже основательно отросли за эти годы. И я, как и Джек, едва ковылял и спотыкался, и надзиратели поддерживали меня, пока я брел через залитый солнцем небольшой тюремный двор. Мы с Брамселем Джеком уставились друг на друга, и каждый из нас узнал в изуродованном подобии человека товарища по несчастью.

Люди, подобные Брамселю Джеку, всегда пользуются некоторыми привилегиями даже в тюрьме, и поэтому он позволил себе некоторое нарушение тюремных правил: хриплым, дрожащим голосом он заговорил со мной.

– Ты молодец, Стэндинг, – прохрипел он. – Так они от тебя ничего и не узнали.

– Но я ничего и не знал, Джек, – прошептал я в ответ. Волей-неволей я вынужден был шептать, ибо, промолчав пять лет, почти разучился говорить. – Мне кажется, этого динамита никогда и не было вовсе.

– Вот-вот, – закивал он, словно ребенок. – Стой на своем. Не говори им ничего. Ты молодец. Я крепко уважаю тебя, Стэндинг. Ты умеешь держать язык за зубами.

И тут тюремщики увели меня, и больше я никогда не видел Брамсея Джека. Было совершенно очевидно, что даже он уверовал в конце концов в эту сказку о динамите.

Трижды вызывало меня к себе тюремное начальство и поочередно то запугивало, то улещивало. Мне представили на выбор две возможности: если я открою, где находится динамит, я получу самое легкое наказание – тридцать дней в карцере, а затем буду назначен старостой тюремной библиотеки. Если же я предпочту упорствовать и не укажу, где хранится динамит, то останусь в одиночке на весь срок заключения. Ну, а поскольку я был приговорен к пожизненному заключению, это означало пожизненное заключение в одиночке.

О нет! Калифорния – цивилизованная страна. Ничего подобного вы не обнаружите в своде законов этого штата. Это – небывалое, неслыханно жестокое наказание, и ни одно современное государство не пожелает нести ответственность за такой закон. Тем не менее я уже третий человек в истории Калифорнии, который был присужден к одиночному тюремному заключению пожизненно. Другие два – это Джек Оппенгеймер и Эд Моррел. Я скоро расскажу вам о них, ибо мне пришлось гнить с ними бок о бок в безмолвии одиночных камер.

И еще вот что. Мои тюремщики намерены в скором времени вывести меня из тюрьмы и повесить... Нет, нет, не за убийство профессора Хаскелла. За это я был приговорен к пожизненному заключению. Они собираются вывести меня из тюрьмы и повесить, потому что я напал на надзирателя. А это уже не просто нарушение тюремной дисциплины. На это уже существует закон, занимающий свое место в уголовном кодексе.

Кажется, я расквасил ему нос. Я не видел, шла ли у него носом кровь, но свидетели утверждают, что шла. Звали этого человека Сэрстон. Он был надзирателем в тюрьме Сен-Квентин, отличался отменным здоровьем и весил сто семьдесят фунтов. Я был слеп, как летучая мышь, весил меньше девяноста фунтов и так долго пробыл в узкой камере, замурованный между четырьмя стенами, что, очутившись на открытом пространстве, опьянел, и у меня

закружилась голова. Несомненно, это был самый типичный, клинически чистый случай начальной стадии агорафобии, и я убедился в этом в тот же день, когда вырвался из одиночки и ударил тюремщика Сэрстона в нос.

Я расквасил ему нос, когда он преградил мне дорогу и попытался меня схватить. И вот теперь меня собираются повесить. По закону штата Калифорния, приговоренный к пожизненному заключению преступник вроде меня, нанося удар надзирателю вроде Сэрстона, совершает уголовное деяние, караемое смертной казнью. Сэрстон, верно, уже через полчаса забыл, что у него шла из носа кровь, но тем не менее меня за это повесят!

А теперь послушайте! В моем случае этот закон применен *ex post facto* [1 - Задним числом (лат.)]. Когда я убил профессора Хаскелла, такого закона еще не существовало. Он был принят уже после того, как я был приговорен к пожизненному заключению. И в этом-то вся суть: вынесенный мне приговор поставил меня в положение, при котором я мог подпасть под действие закона, еще не принятого. Ведь меня могут повесить за нападение на надзирателя Сэрстона только благодаря моему статусу пожизненно заключенного. Совершенно ясно, что это – решение *ex post facto* и, следовательно, противоречит конституции.

Но какое значение имеет конституция для судей, если им нужно разделаться с небезызвестным профессором Даррелом Стэндингом? К тому же казнь моя отнюдь не будет беспрецедентной. Как известно всем, кто читает газеты, год назад здесь же, в Фолсемской тюрьме, за такое точно же преступление был повешен Джек Оппенгеймер... Только оскорбление действием выразилось тогда не в том, что Оппенгеймер расквасил нос тюремщику: он невзначай порезал одного из заключенных столовым ножом.

Странная это штука – жизнь, и человеческие поступки, и законы, и хитросплетения судьбы. Я пишу эти строки в той самой камере, в Коридоре Убийц, в которой сидел Джек Оппенгеймер, пока его не вывели отсюда и не сделали с ним то, что собираются сделать со мной.

Я предупредил вас, что мне нужно написать о многом. И я возвращаюсь к моему повествованию. Тюремное начальство предложило сделать выбор: если я укажу, где спрятан динамит, то буду назначен старостой тюремной библиотеки и освобожден от работы в ткацкой мастерской. Если же я откажусь сообщить его местонахождение, то до конца дней своих останусь в одиночке.

Мне дали двадцать четыре часа смирительной рубашки, чтобы я мог поразмыслить над их ультиматумом. Затем я вторично предстал перед тюремным начальством. Что я мог сделать? Я же не мог указать им, где хранится динамит, когда никакого динамита не существовало. Я так им и сказал, а они сказали мне, что я лгу. Они сказали, что я – тяжелый случай, опасный преступник, выродок, один на столетие. И они сказали мне еще много кое-чего, а затем отправили меня обратно в одиночку. Меня поместили в одиночку номер один. В номере пятом сидел Эд Моррел. В номере двенадцатом находился Джек Оппенгеймер. И он сидел там уже десять лет. А Эд Моррел сидел первый год. Он был приговорен к пятидесяти годам заключения. Джек Оппенгеймер был осужден пожизненно, так же, как и я. Казалось бы, всем нам троим предстоит пробыть там немалый срок. Однако прошло всего шесть лет, и уже никого из нас там нет. Джека Оппенгеймера повесили. Эд Моррел стал главным старостой Сен-Квентина и совсем на днях был помилован и выпущен на свободу. А я здесь, в Фолсемской тюрьме, жду, когда судья Морган в положенное время назначит день, который станет моим последним днем.

Дураки! Слово они могут лишить меня моего бессмертия с помощью своего неуклюжего приспособления из веревки и деревянного помоста! О нет, еще бесчисленное количество столетий я буду бродить снова и снова по этой прекрасной земле! И не бесплотным духом буду я – я буду владыкой и пахарем, ученым и невеждой, буду восседать на троне и стонать под ярмом.

## Глава V

Очень тяжело и тоскливо было мне первые недели в одиночке, и часы тянулись нескончаемо долго. Ход времени отмечался сменой дня и ночи, сменой дежурных надзирателей. Днем становилось лишь чуть-чуть светлее, но и это было лучше непроглядной ночной тьмы. В одиночке день – всего лишь вязкий тусклый сумрак, с трудом просачивающийся снаружи, оттуда, где ликует солнечный свет.

Никогда не бывает настолько светло, чтобы можно было читать. Да, кстати сказать, и читать-то нечего. Остается только лежать и думать, думать. А я был приговорен к пожизненному заключению, и это означало, что мне предстоит – если только я не сумею сотворить чудо, создав тридцать пять фунтов динамита

из ничего, – все оставшиеся годы жизни провести в безмолвии и мраке.

Постелью мне служил жидкий, набитый гнилой соломой тюфяк, брошенный на каменный пол. Укрывался я ветхим, грязным одеялом. Больше в камере не было ничего – ни стола, ни стула – ничего, кроме этой тонкой соломенной подстилки и тонкого, вытертого от времени одеяла. А я привык мало спать и много думать. В одиночном заключении человек, оставленный наедине со своими мыслями, надоедает самому себе до тошноты, и тогда единственным спасением от самого себя служит сон. Годами я спал в среднем не больше пяти часов в сутки. Теперь я стал культивировать сон. Я сделал из этого науку. Я научился спать десять, затем двенадцать и, наконец, даже четырнадцать-пятнадцать часов в сутки. Но это был предел, и все остальное время я волей-неволей был вынужден лежать, бодрствовать и думать, думать. А для человека, наделенного живым умом и фантазией, это прямой путь к безумию.

Я пускался на всяческие ухищрения, чтобы хоть чем-то заполнить часы моего бодрствования. Я без конца возводил в квадратную и в кубическую степень всевозможные числа, заставляя себя сосредоточиться, и вычислял в уме самые невероятные геометрические прогрессии. Я даже принялся было искать, шутки ради, квадратуру круга... Но поймал себя на том, что начинаю верить в возможность разрешения этой неразрешимой задачи. Тогда, поняв, что это тоже грозит мне потерей рассудка, я отказался от поисков квадратуры круга, хотя, поверьте, это было для меня большой жертвой, так как подобное умственное упражнение великолепно помогало убивать время.

Закрыв глаза и концентрируя внимание, я представлял себе шахматную доску и разыгрывал сам с собой длиннейшие шахматные партии. Но как только я достиг в этом совершенства, игра потеряла для меня интерес. Это было только времяпрепровождение и ничего больше, ибо подлинная борьба невозможна, если игрок сражается сам с собой. Я пытался расщепить свою личность на две и противопоставить их друг другу, но все попытки были тщетны: я всегда оставался лишь одним игроком, играющим за двоих, и не мог обдумать не только целого плана игры, но даже ни единого хода без того, чтобы это не стало немедленно известно партнеру.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Задним числом (лат.).

----

Купить: <https://tn.knigapoisk.com/dzhek-london/strannik-po-zvezdam>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)